

Андрей Белый

ТРИЛОГИЯ • I

НА РУБЕЖЕ  
ДВУХ СТОЛЕТИЙ

МЕМОАРЫ

УДК 82-94  
ББК 83.3(2Рос=Рус)  
Б43

**Белый, А.**

Б43 Трилогия. Часть I. На рубеже двух столетий / А. Белый. — М.: T8RUGRAM, 2018. — 446 с.

Андрей Белый (1880–1934) — известный писатель Серебряного века, поэт, критик, мемуарист, один из ведущих деятелей русского символизма и модернизма.

«На рубеже двух столетий» — первая книга из мемуарной трилогии А. Белого, представляющая собой воспоминания автора о своей семье, отрочестве, о поливановской гимназии, профессуре Московского университета начала XX века. Написанная невероятно образным, эмоциональным языком, эта книга будет интересна широкому кругу читателей!

УДК 82-94  
ББК 83.3(2Рос=Рус)  
ВІС FC  
BISAC FIC000000

## СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ .....	5
ГЛАВА ПЕРВАЯ. МАТЕМАТИК .....	19
ГЛАВА ВТОРАЯ. СРЕДА.....	77
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. БОРЕНЬКА .....	153
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ГОДЫ ГИМНАЗИИ .....	241
ГЛАВА ПЯТАЯ. УНИВЕРСИТЕТ .....	363



## ВВЕДЕНИЕ

### *Дети рубежа двух столетий: два поколения, два типа детей: сыны и «сынки»*

«На рубеже двух столетий» — заглавие книги моей, предваряет заглавие другой книги — «Начало века». Но имею ли право начать, воспоминание о «начале», не предварив «рубежом» его? Мы — дети того и другого века; мы — поколение рубежа; я в начале столетия — сформировавшийся юноша, уже студент с идеями, весьма знающий, куда чалить, — знающий, может быть, слишком твердо, ненужно твердо; именно в теме твердости испытывал я в начале столетия удары судеб.

Правота нашей твердости видится мне из двадцать девятого года скорее в решительном «нет», сказанном девятнадцатому столетию, чем в «да», сказанном двадцатому веку, который еще на три четверти впереди нас; он не дан; еще он загадан и нам, и последующим поколениям.

Но кто «мы»?

«Мы» — сверстники, некогда одинаково противопоставленные «концу века»; наше «нет» брошено на рубеже двух столетий — отцам; гипотетичны и зыблемы оказались прогнозы о будущем, нам предстоявшем, в линии выявления его: от 1901 года до нынешних дней; «наша», некогда единая линия ныне в раздробе себя продолжает; она изветвилась; и «мы» оказались в различнейших лагерях; все программы о «да» оказались разорванными в ряде фракций, в партийности, в осознании подаваемого материала эпохи; когда перешли мы «рубеж» и он стал удаляться перед вытягивающимся началом столетия, то каждое пятилетье его нам рождало загадки, вещавшие, как сфинкс: «Разрешите».

Мы — юноши, встретившиеся в начале столетия, и те немногие «старшие», не принявшие лозунгов наших отцов, и одиночки, борющиеся против штампов, в которых держали нас; в слагавшихся кадрах детей рубежа идеология имела не первенствующее значение; стиль мироощущения доминировал над абстрактною догмою; мы встречались под разными флагами; знамя, объединявшее нас, — отрицание бы-

тия, нас сложившего; и — борьба с бытом; этот быт оказался уже нами выверенным; и ему было сказано твердое «нет».

В конце прошлого века сидим «мы» в подполье; в начале столетия выползаем на свет; завязываются знакомства, общения с соподпольщиками; о которых вчера еще и не подозревали мы, что таились они где-то рядом; а мы их не видели; новое общение обрывает каждого из нас; появляются квартирники, кружочки, к которым ведут протоптаные стези, — одинокие тропки среди сугробов непонимания; у каждого из непонятых оказывается редкое местечко, где его понимают; и каждый, убегая от вчерашнего домашнего, но уже чужого очага, развивает с особой интимностью культ нового очага; относительно первого хорошо сказал Блок: «Что же делать? Что же делать? Нет больше домашнего очага!.. Радость остыла, потухли очаги... Двери открыты на вьюжную площадь». («Безвременье. I. Очаг».) О другом, новом для меня очаге, я писал:

*Следя перемокревшим снегом,  
Озябший, заметенный весь,  
Бывало, я звонился здесь  
Отдаться пиришествным негам.*

Не прошло и пяти лет, как эти «чайные столы», за которыми мы отдыхали, изгнанные отовсюду, стали кружками, салонами, редакциями, книгоиздательствами, — сперва для «немногих», таких, как и мы, — недовольных и изгнанных бытом; крепла тенденция к иному быту, иному искусству, иной обществу среди нас; так вчерашний продукт разложения интеллигентных верхов стал организовываться в лаборатории выявления нового быта; так вчера названные декаденты ответили тем, что стали доказывать: «декадентами» произведены они в «декаденты». И появилось тогда крылатое слово «символизм»; продукт разложения в эпоху 1901–1910 годов проявил устойчивость, твердость и волю к жизни; вместо того, чтобы доразложиться, он стал слагаться и бить превышавших и количеством и авторитетом врагов: «отцов»; мы иной раз удивлялись и сами силе натиска; в подполье мы сидели ведь сложа руки; это сидение нас в подполье в эпоху 1895–1900 годов оказалось впоследствии закалом и выдержкой, которой ча-

сто нечего было противопоставить; мы напали на вчерашнее «сегодня», душившее нас одновременно и с фланга, и с тыла; били по нему не только нашим «завтра», но иногда и «позавчера»; тот факт, что мы были органически выдавлены из нас воспитавшего быта, оказался силой нашею в том смысле, что наши «лозунги» нашими отцами не были изучены; и когда били по нас, то били мимо нас, а мы, просидев в плену у того быта, который отвергли, изучили его насквозь: в замашках, в идеологии, в литературе; и когда с нами спорили о поэзии, то оказывалось, что спорившие не знают ни взглядов на поэзию Реми де Гурмона, Бодлера и прочих «проклятых», ни Гете, ни даже Пушкина; а когда мы оспаривали Милля и Спенсера, то оспаривали мы то, что многие из нас изучили скрупулезно.

Все это не могло не сказаться в том, что полуразрушенные бытом отцов дети рубежа до конца разрушили быт отцов, казавшихся такими твердокаменными и крепкими; кариатиды что-то уж слишком быстро рассыпались в порошок или покрылись мохом; а неказистые, с виду хилые, отнюдь не кариатиды, мы, именно поскольку мы были не твердыми, но текучими, протекли в твердыни, защищаемые против нас. Волей к переоценке и убежденностью в правоте нашей критики были сильны мы в то время; и эта критика наша быта отцов начертала нам схемы иных форм быта; она же продиктовала интерес к тем образам прошлого, которые были заштампованы прохожею визою поколения семидесятников и восьмидесятников; они не учли Фета, Тютчева, Боратынского; мы их открывали в пику отцам; в нашем тогдашнем футуризме надо искать корней к нашим пассаистическим экскурсам и к всевозможным реставрациям; иное «назад» приветствовали мы, как «вперед» из нашей тогдашней революционной тактики обходного движения; мы, не разделяя позиции Канта, но еще более ненавидя «ползучий эмпиризм» (кажется, выражение Ленина), в пику Стюарту Миллю тактически поддерживали лозунги «назад к Канту», «назад к Ньютону» от крайностей механицизма, которым были полны и который иные из нас изучали специально; мы выдвигали Диалектику, динамику, квалитатизм, Гераклита против стылых норм элейского бытия, статики и исключительности квантитатизма; и уже со всею решительностью провозглашали «назад к Пушкину» от... Надсона и... Скабичевского; и даже «назад к Марксу и Энгельсу» от... Максима

Максимовича Ковалевского и всяческого «янжулизма»; так: в 1907 году я писал: «О, если бы вы, Иван

Изанович, познакомились хотя бы с механическим мировоззрением, прочли бы химию... О, если бы вы разучили... эрфуртскую программу» («Арабески», стр. 341). Нам предлагались когда-то: не Маркс, а — Кареев, не Кант и Гегель для исторического изучения становления логики, диалектики и методологии, а... «История философии» Льюиса вместе с пошлятиной французской описательной психологии, а нас уже в гимназическом возрасте воротило от Смайльсов, которыми в отрочестве перечитались и мы; некогда мы готовы были согласиться на что угодно: на Ницше, на Уайльда, даже... на Якова Беме, только бы нас освободили от Скабичевского, Кареева и Алексея Веселовского; и мы, покажи нам Рублева, конечно же схватились бы за него, чтобы отойти от впечатлений художества Константина Маковского, нам подставленного; наши «пассеистические» уроки отцам имели такой смысл: «Вы нас упрекаете в беспринципном новаторстве, в разрушение устоев и догматов вечной музейной культуры; хорошо же, — будем „за“ это все; но тогда подавайте настроенный строй, — не прокисший устой, не штамп, а стиль, продуманный заново, не скепсис, а — критицизм; отдайте нам ваши музеи, мы их сохраним, вынеся из них Клеверов и внося Рублевых и Врубелей».

Мы, недовольные разных мастей, пересекались твердо на «нет», которое было выношено жизнью.

Теперь — эпоха опубликования всякого рода дневников; сошлюсь на них для иллюстрации своей мысли.

Вот — «Дневник» Блока: какая ирония по отношению к штампу ходячего либерализма; и в Цицероне провидит впоследствии он хорошо изученный образ «кадета»; все это сквозит в нем еще в 1912—1913 годах; говорю «еще»; подчеркиваю: «не уже»; принято объяснять Блока, как пришедшего к критике обставшего быта; а надо брать Блока, как исшедшего из этой критики еще в эпоху «Ante Lucem»; он мог ошибаться в оформлении своих консеквенций критики; но критика быта — основное в нем; то именно, что его сделало для «отцов» «декадентом»; дневники Блока — под знаком «еще»; не «уже» Блок трезвеет, а «еще» не может забыть чего-то, что некогда отделило его весьма от других. Другой пример: «Из моей жизни» Ва-

лерия Брюсова; та же горечь выведенности из быта и ощущение своей потерянности в нем.

Люди, подобные Брюсову, Блоку, мне, лишь позднее связавшиеся в попытках оформить свое культурное «средо», до встречи друг с другом уже были тверды, как сталь, в отношении к вчерашнему дню; и эта сталь стала нам лезвием отреза от конца века; не тогда стал Брюсов декадентом, когда напечатал «О, закрой свои бледные ноги», а тогда, когда изучал Спинозу в Поливановской гимназии и в эти же месяцы отметил в дневнике неизбежность для него быть символистом; а я стал изгоем профессорской среды не по указу «Русских Ведомостей» 1902 года, а тогда уже им был, когда в 1897 году товарищи показывали на меня учителю: «А Бугаев-то у нас — декадент». Подлинники тогда именно и писались: в душе.

И позднее, встретившись, мы спорили о весьма многом: о значении французского символизма, не слишком значительного для нас с Блоком и значительного для Брюсова, о значении Ницше, ценимого мной и не слишком еще ценимого Блоком, и т.д.; но мы никогда не спорили о том, имеют ли значение фразы Гольцева, И.И. Иванова и Алексея Веселовского; и еще: не соглашаясь ни в чем с Константином Леонтьевым, мы предпочитали читать его, чем... Кареева. Таковы были мы.

Чтобы стало наглядно, кем мы никогда не были, — возьмите воспоминания Т.Л. Щепкиной-Куперник «Дни моей жизни»; все то, перед чем трепещет она, уже не существовало для нас; с какой любовью описывает она «марийствование» в «Русских Ведомостях» Соболевского, Игнатова, занимавшихся лет двенадцать специальным утоплением нас в море презрения; прочитайте трепет, с которым описывается Виктор Александрович Гольцев (стр. 291); или: с каким уважением приводится мнение Стороженки о ее произведениях; я, выросший в квартире у Стороженок и наглядевшийся на «почтенного» Николая Ильича двадцать пять лет, уже в 1896 году знал: Стороженко в искусстве ничего не смыслит; и спрашивать мнения у сего московского «альфа» не согласился бы ни за какие блага. Я никого не критикую (каждому своя дорога); я лишь указываю, кем мы не были.

Да и сами почтенные «старцы», — вчитайтесь, как они нежны с «Танечкой»; добрый Гольцев брюзжит-брюзжит, Да и разразится

вдруг о гениальной писательнице: «А малиновка все пела! Боги Греции, как она пела!» Хочется экспромтом уехать с Яворской на запад, — денег нет; а Саблин — тут как тут: «А на что же существуют авансы» и по щучьему велению доброго «папаши»: и деньги, и паспорт; помню, как Н.И. Стороженко нас, подростков, стремящихся к сцене, все пичкал водевильчиками гениальной Танечки, а я... хотя был гимназистом, сбежал от сладости роли первого любовника, которую мне подсунули.

Впечатление от «Дней моей жизни»: трогательное почитание юной Танечкой «старцев»; и еще большая нежность старцев к «Танечке»; что ни пикнет, все триумфально несется в редакцию; между тем эти столь нежные к «Тане» отцы, — с какою жестокою неумолимостью они именно и душили нас: Блок — идиот; Брюсов — махровый нахал и бездарность; я — и идиот, и нахал. Марксисты не выказали по отношению к нам и одной сотой той лютости, какую мы испытали от этих нежных старцев; марксисты наводили критику; либералы — сводили счета.

«Танечка» же была своя «девочка».

А «Боренька», я, — стал предателем; и жест «старцев» в отношении ко мне после незадачливого моего «Открытого письма к либералам и консерваторам» (1903 год) напоминал воистину страшную месть; и она тотчас же началась — на государственном экзамене, где меня силится провалить не за незнание предмета, а за «Письмо»; и эта «месть» мне сопровождала меня по годам; Брюсова не травили так, потому что он и не был «Валенькой»; а я, Андрей Белый, я именно «Боренькой» — был: сидел на коленях Льва Толстого; и кормили меня конфетами и Буслаев, и Янжул; профессора позднее кивали мне о возможности при них остаться; восхитись я ими, как «Танечка», и мои бы «пики» печатались «Русской Мыслью» еще в конце века: ведь печатался же двенадцатилетний Юрочка Веселовский; ведь справил же во «время оно» он свой десятилетний юбилей!

А я?..

«Боренька» напечатал «Симфонию».

Со следами уже старинного скандала, происшедшего двадцать семь лет тому назад, мне и теперь приходится встречаться, когда я попадаю в сохранившиеся чудом, в погребах, остатки того быта, который доминировал в конце века.